

Митрополит Сурожский Антоний
ТРУДЫ
ОЖИВШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ

Мне предложили темой прекрасное, глубокое определение христианина — «оживший из мертвых» (Рим 6:13), и я попытаюсь рассмотреть в меру моих сил некоторые его аспекты, хотя обращаюсь к вам со своим словом в колебании: больше, чем когда-либо, мне сегодня кажется, что вам предстоит выслушать весьма примитивные рассуждения о возвышенном.

На первый взгляд, это выражение апостола Павла как бы отсылает к Евангелию от Иоанна (Ин 11:1—44), будто прототип этого «ожившего из мертвых» — Лазарь. Однако даже пример Лазаря, как он ни значителен, меньше этой реальности христианина. Лазарь ожил, но он вернулся к временной жизни, вновь умер. Образ «ожившего из мертвых», который действительно в меру христианина — это Сам Христос, и только Он.

Я хотел бы сначала остановиться на теме *смерти*. О какой смерти (и, следовательно, о каком воскресении) идет речь? Какое существо восстает из этого опыта смерти? Что делать перед лицом смерти, чтобы ожить в том же смысле, как ожил Христос?

Смерть можно встречать лицом к лицу мужественно, героически. Вспомните строки Альфреда де Виньи в стихотворении «Смерть волка»:

Я думал: «Как смешны мы в нашем ослеплень!
Как слабы, хоть и мним себя венцом творенья!
Учись же, человек, величию у зверей,
Чтоб, отдавая жизнь, не сожалеть о ней».

И далее, толкуя последний брошенный ему волком взгляд:

Он как бы говорил: «Коль и в тебе есть твердость,
Сумей взрастить в душе стоическую гордость
И стань ценою дум, и бдений, и трудов
Тем, чем с рожденья был я, вольный сын лесов.
Поверь: стенать, рыдать, молить — равно позорно.
Свой тяжкий крест неси и долго, и упорно.
Путь, что тебе судьбой назначен, протори,
Потом, без слов, как я, отмучься и умри»¹.

Победа ли это над смертью? Нет, это героический, прекрасный, но спорный способ встречать в лицо процесс «умирания». Смерть здесь не побеждена, не превзойдена. В одном письме из тюрьмы, написанном на Пасху, Бонхёффер говорил: «Сократ научил нас смотреть в лицо смерти. Христос же победил смерть»². Об этой-то победе мы и будем говорить. Героизм, внутренняя дисциплина, величие души позволяют нам встретить лицом к лицу это событие, учат нас проходить шаг за шагом путь смерти, не сломавшись душой, но тем не менее победа

¹ Виньи А. де. Пер. Г. Шенгели. Избранное. М.: Искусство, 1987, с. 490—491.

² Письмо от 27 марта 1944 г. в кн.: Бонхёффер Д. «Спротивление и покорность». М.: Прогресс, 1994, с. 190.

остаётся за смертью. Сократ выпил яд, волк Альфреда де Виньи умер безвозвратно, и столько героев, замечательным образом встретивших лицом к лицу опасности и ужасы смерти, умерли смертью, которую можно было бы назвать окончательной! Героизма тут недостаточно. Есть коренное различие между тем, чтобы смотреть в лицо смерти, и тем, чтобы победить смерть.

Романо Гуардини в небольшой книжечке под названием «О последних вещах»³ подчеркивает факт, который мы слишком часто забываем: мы бесконечно ближе знакомы со смертью, чем нам думается. Смерть и жизнь переплетаются и составляют одно целое. Всякое перерастание, всякий жизненный порыв, который приводит нас на высший уровень, который действительно приближает нас к Богу, всегда сопровождается смертью. Ребенку нелегко стать юношей или девушкой. Некоторые детские черты должны действительно «вымереть», дабы юноша или девушка не были отмечены инфантильностью, так же как позднее взрослому человеку следует не замыкаться в вечной юности, но перерасти ее. И ради того, чтобы вырасти в полную свою меру, зрелому человеку придется отказаться от многих привлекательных черт, которые он хотел бы сохранить, но которые все равно ускользнут, потому что юность — состояние преходящее. На каждом уровне, в каждый момент нашего внутреннего или внешнего развития смерть присутствует не как разрушительная или убийственная сила, но как сила, которая нас освобождает, позволяет нам стать иными, чем мы были в предыдущий миг. Так что у нас есть опыт близости со смертью, и если продумывать его каждый день, если переживать его сердцем и умом, если принимать его со всей глубиной, которую смерть приобретает в различных ситуациях, эта близость могла бы научить нас встречать смерть спокойным сердцем, потому что это — реальность, которую мы встречали изо дня в день в течение долгой ли, короткой ли жизни, и потому что из этого привычного нам события всегда возникала новизна жизни, оно оказывалось не концом поприща, а началом нового пути. Разумеется, есть смерть биологическая, но есть также то, что Р. Гуардини называет «смертью биографической», — смерть, которая гораздо страшнее телесной: она-то может оказаться победой, миром, высвобождением. Биографическая смерть имеет иной характер и может *тянуться* долго, это смерть переживших себя существ: они потеряли разум, но телом продолжают оставаться среди нас. Люди, которые были великими, служили примером, уже больше не могут жить со всей напряженностью и глубиной в меру достигнутой ими зрелости. Приходит время, когда смерть предстает нам в трагичности старения, как беспощадный упадок и вырождение, в уверенности — ложной, но столь болезненной, — что смерть означает постепенный распад, превращение в прах, означает, что мы стали ненужными, лишними для нашего окружения, быть может, задолго до того, как настоящая смерть принесет нам свободу — свободу встать перед Богом живой душой. Сколько знаменитых людей были забыты задолго до своей кончины! Они завершили свое дело и были преданы забвению. Наша ответственность перед лицом этого уродливого, отталкивающего постепенного умирания велика, потому что человек становится

³ Guardini R. «Die letzten Dinge», 1940.

лишним, если его сочтут лишним ближние; нас обходят, отстраняют те, кто прежде нас окружал, и в результате у нас впечатление, что наша жизнь окончилась задолго до того, как пришла смерть. Тут есть ответственность общественная, человеческая, христианская, которую мы должны взять на себя: мы не имеем права отбрасывать кого-либо по причине его кажущейся «ненужности».

Если позволите, я вам дам пример, хотя он не в уровень моей темы: я вам расскажу о своей бабушке, которая достигла почтенного возраста девяноста пяти лет. Однажды после тщетных усилий вымыть посуду она ее выронила. Она позвала меня, показала осколки и сказала: «Почему Бог дает мне жить? Я уже никуда не гожусь». Помню, в ответ я привел ей две причины, которые мне действительно кажутся законными. Первая: у Бога наверняка уже столько старушек, что еще одна уж действительно может подождать, но вторая была, вероятно, более важна с точки зрения человеческой — я сказал бабушке: «Знаешь, многое ты не умела делать так же хорошо, как другие, или лучше их. На протяжении твоих девяноста пяти лет, несомненно, были люди, которые умели лучше тебя мыть посуду. Но есть одно, чего не умел делать никто, кроме тебя, и это тебе удалось». Она с интересом насторожилась и спросила: «Что это?» — «Никто, кроме тебя, — ответил я, — не сумел быть моей бабушкой». Оно звучит шуткой, когда я вам это так передаю. Но это действительно имело значение для этой женщины: она будто открыла в себе что-то настолько неповторимое, чего не могли задеть ни возраст, ни дряхлость, ни старость со всей ее силой разрушения.

Так что трагизм смерти не в том, что в какой-то день мы окажемся перед лицом физической смерти, а в том, что задолго до того мы уже мертвецы среди... я хотел сказать — живых. Живых ли? Увы, нет! Мы — мертвецы среди существ, которые еще не научились жить, различать подлинную меру жизни, горение жизни там, где оно есть. В конечном итоге, даже если биологически мы остаемся живы, смерть представляется растущим разделением, трещиной, которая все расширяется и делает нас все более и более чуждыми друг другу. И все кончается видением ада Ветхого Завета. Этот ад не имеет живописного характера дантовского описания. Это не место изошренных мучений, где Бог присутствует во всей жестокости Своего оскорбленного Божества — уродливая карикатура истинного Бога. Это — место, где Бога нет. Это место радикального отсутствия Бога, место, где ничто нас больше не соединяет друг с другом, потому что лопнула нить, соединявшая жемчужины, потому что Бога нет, — и мы, как следствие, разделены друг от друга. И тогда ад — это другие, ад — это мы с вами, это та неисцеленная разобщенность, к которой мы приговорены навечно. Вот *этой-то* смерти больше нет во Христе, *этот* ад побежден во Христе. В пасхальном тропаре мы поем, что Христос победил смерть⁴, и многие — не только среди неверующих, но и среди верующих — могли бы сказать, имеют право спросить: «Что означает это странное выражение? Смерть все еще царствует, она косит среди нас одного человека за другим, мы все отмечены ее печатью, мы все умрем! Что вы хотите сказать, когда поете воскресение и победу над

⁴ Тропарь Пасхи: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот (жизнь) даровав».

смертью?» Победа над смертью состоит в том именно, что Своей смертью и Своим сошествием во ад Христос внес присутствие Божие в то именно место, где царило полнейшее Его отсутствие. Нигде — ни на небе, ни на земле, ни в глубинах духовных бездн — нет места, где отныне не присутствовал бы Бог. Ад раскрылся, чтобы поглотить человеческую душу, и принял в свое лоно Живого Бога. Эта человеческая душа блистала Божеством, и она уничтожила *шеол* — «место отсутствия», она его уничтожила до конца, упразднила его. Итак, если можно сказать, что Сократ научил нас глядеть в лицо смерти, то Один лишь Христос победил смерть в ее последней сущности. И она побеждена навсегда.

Отныне и в самой смерти, и в ее восприятии есть чрезвычайно положительные элементы. Смерть — миг, где все становление, вся тревога и долгий переход, и волнение, и борьба с временным, со всем тем, что обратится в прах, окончены. Смерть — момент, когда мы можем сказать: *все свершилось*. И мы можем войти в тайну смерти еще прежде, чем наше тело начнет дряхлеть; это — тайна, куда мы можем войти свободно всякий раз, когда понимаем, что все уже совершилось в жизни, в смерти, в Воскресении и Вознесении Христа и в даре Святого Духа. Тогда становится понятно, что возвещает Евангелие: мы уже внутри Царства Жизни.

Один английский автор обратил внимание на тот факт, что в Апокалипсисе слово «конец», которое должно быть среднего рода, всегда употребляется в мужском роде⁵. И вот как он это объясняет: автор Апокалипсиса не думает о конце как о завершающей точке линейного времени, для него конец — это приход, это встреча со Христом, с Богом Живым. Конец — не только миг, когда все завершено в смысле — окончено; все завершено, потому что все достигло своей *полноты* в лице Богочеловека. Христос — конец и в смысле последнего момента, и в смысле цели и завершения. Мы слишком часто забываем, что живем уже во временном ряду, который вышел за пределы линейного времени, хождения ощупью в полумраке Ветхого Завета, подобного цикличному времени внебиблейских религий. Мы живем во времени, где все уже завершено: Царство пришло во всей своей силе, Христос — в нашей среде, Дух Святой излился на апостолов и через них — на нас в непрекращающейся Пятидесятнице. Конечно — и я к этому еще вернусь, — мы ожидаем Парусии⁶, славного Второго

⁵ О лингвистических особенностях слова «конец» в Апокалипсисе см., напр.: Farrer A. «A rebirth of Images: The Making of St. John's Apocalypse». Westminster. Reprint Albany, 1986.

⁶ Парусия (греч. «присутствие, прибытие») — в принятом словоупотреблении второе и славное пришествие Христа в конце времен. Представления о новом явлении Иисуса Христа разбросаны по всему тексту Нового Завета, но единое определение отсутствует. Теме парусии целиком посвящена книга Откровения, в особенности гл. 1, 19, 22. Изображение парусии здесь сходно с иудейскими мессианскими верованиями (Вторая книга пророка Варуха и др.), прежде всего с верой в победоносное пришествие Мессии Сына Давидова, освобождающего Иерусалим. Возможно, это представление оказало влияние и на образ парусии в синоптических Евангелиях (Мф 24—25; Мк 13; Лк 21), но здесь нет столь важной в Откровении и в иудейской апокалиптике темы истребления Сыном Человеческим войск сатаны. Несколько по-иному парусия понимается в Евангелии от Иоанна, где явление Сына Человеческого связано с пришествием Параклета (Утешителя, Духа Святого, Ин 15:26). Апостол Павел в своих посланиях (1 Фес 4:15—17; 1 Кор 15:22) дает яркую картину парусии, во многом предопределившую ее образ в церковном предании. С известной осторожностью можно обрисовать общее для раннего христианства представление о

пришествия Господня, но Он *уже* пришел, мы *уже* в Царстве, Царство пришло во всей своей силе, оно уже не только предмет нашей надежды и веры.

Подвижники древности упражнялись в «памяти смертной» и заповедали то же своим ученикам: «Помни последняя твоя». «Имей память смертную», — говорит нам вся аскетическая традиция. Когда приводишь эти слова современному человеку, он отвергает их: «Как? Неужели я всю жизнь, всю мою долгую человеческую жизнь должен провести в ужасе грядущей смерти? Неужели все радости должны быть отравлены уверенностью, что они окончатся? Неужели надо страшиться потерять все, что мы любим, и помнить, что любая красота мимолетна, истлеет? Неужели вся вселенная сводится к „Падали“ Бодлера?»⁷ Но это ли имели в виду подвижники древности, когда призывали нас постоянно помнить о смерти? Думаю, нет. Смерть — единственное, что может заставить нас вырасти в меру жизни. Без нее жизнь могла бы стать столь мелкой и ничтожной! В тот момент, когда перед нами встает смерть, когда она входит, например, в наш дом, все приобретает истинно человеческий, то есть богочеловеческий, масштаб. Подумайте о том, что происходит, когда один член семьи узнает, что смертельно болен. Смерть рядом, ее образ нельзя отстранить, она неотвратимо нарастает, она постепенно побеждает. Подумайте об этой семье, где не только кто-то один знает, что обречен, но где это знает и его окружение! Смерть может прийти внезапно, и отныне произнесенное вами слово — может быть, последнее, что услышит больной. Может быть, на вашем поступке упадет занавес, на нем окончится для больного «человеческой жизни празднество», как поется в Покаянном каноне. Времени исправить что-либо не остается, нельзя сказать себе: пока что я пишу черновик жизни, позднее я перепишу ее начисто. Времени нет, смерть может унести одного из нас, и останется только сожаление, отчаяние, которое, правда, может быть превзойдено верой, опытом Бога, молитвенным общением со святыми и безграничным взаимным снисхождением грешников, когда они признают свою общую слабость. Но для того, у кого нет веры, остается лишь отчаяние, остается только прошлое. Потому-то лишь сознание смерти дает всему и всем подлинную ценность. Один из наших православных священников, теперь покойный, сказал как-то в проповеди: «Лишь Дух Святой в Своем Божественном величии может усмотреть бесконечную ценность вещей, слишком мелких для того, чтобы быть замеченными людьми». Да, то, как вы ставите чашку чая на поднос, то, что вы не забудете салфетку, цветок, движение, которым вы все это поднесете, слово, которое вы скажете, то, что вы найдете время присесть возле человека, которого ждет смерть, когда он одинок, — все, вплоть до самого незначительного жеста, может стать символом и выражением глубины человеческих отношений, общения в Боге, которое может быть между двумя людьми. Все это возможно только

парусии таким образом: 1) как о втором пришествии Иисуса Христа в славе для победы над дьяволом и его приверженцами; 2) как о явлении воскресшего Христа; 3) как об уже совершившемся пребывании Христа в Церкви. Новозаветным авторам, апостольским мужам и апологетам Второе пришествие представлялось делом недалекого будущего, в дальнейшем церковная традиция переносит эти сроки на 500 и более лет вперед или вообще ограничивается указанием на реальный чувственно осязаемый характер парусии.

⁷ «Падали». Бодлер Ш. «Цветы зла». М.: Наука, 1970, с. 51.

предлагается и предстоит подлинное обновление. То же самое содержится в монашеских обетах, когда мы отбрасываем временное, относительное, для того чтобы радикальным подвигом прилепиться только высшему, совершенному.

Я говорил о смерти несоразмерно долго относительно предложенной мне темы. Но об этом никогда не говорится, а тема смерти важна для понимания жизни. Я хотел бы теперь сказать несколько слов о реальности, которая присутствовала во всем, что я говорил о смерти, но чего я хотел бы коснуться непосредственно: *связь Христа и смерти*. То, что я скажу, быть может, слишком лично. Я это пережил, это покоится в самой сердцевине моего понимания жизни, и я хотел бы поделиться этим с вами, а вы вольны отбросить это или продумать лучше.

Когда я читаю Евангелие, меня поражает полная, предельная солидарность между Христом и нами.

Христос родился в тварный мир, со всеми ограничениями тварности. Он родился в падшем мире, в его ограниченности и ужасе. Он взял на Себя, принял в Себя все последствия греха: голод, жажду, усталость, тоску, боль. Он был отвержен. Он умер. И, поскольку Он вошел в этот наш мир, где жизнь и смерть нераздельны, нам кажется почти естественным, что Он, будучи человеком, тоже умирает. И, однако, это совершенно непостижимо. Непостижимо не то, что Христос воскрес, а то, что Он умер. В самом деле: смерть можно рассматривать только как результат — ужасный, уродливый, невозможный — нашей отделенности от Бога. Об этом говорят и апостол Павел, и Ветхий Завет; тема смерти связана с темой греха, который есть отделенность от Бога и, следовательно, от людей. Но Христос — Бог, ставший человеком. Следовательно, Он — сама жизнь. С самого момента Своего зачатия Он бессмертен, поскольку в Нем человечество нераздельно и навсегда соединено с Божеством. Когда мы поем в службе Страстной недели: «О, Жизнь вечная, как Ты умираешь? О, Свет вечный, как Ты заходишь?» — это не поэзия церковная: мы говорим нечто богословски абсолютно точное. Бессмертный в самом Своем человечестве, Христос — среди нас. Как же может Он умереть?

Он умирает свободно, «вольной волей» принимая смерть, — не потому, что она была естественным следствием Его воплощения, а добровольно, из любви к нам отдавая Свое человечество, которое за пределом умирания, во власть невозможной, чудовищной смерти. Христос умирает. Мучительство смерти раздирает Его тело, пронизанное Божеством, от Его души, также пронизанной Богом. Его тело нетленно во гробе: Он за пределами тления, которое познаем мы, потому что Он неразлучен от Божества. И Христос сходит в глубины ада в блистании Своего Божества, которое вмещает Его человеческая душа. Как же может смерть коснуться Христа? Это возможно, потому что непостижимым действием, превосходящим всякое воображение, перед которым мы можем только умолкнуть и пасть к ногам Божиим, Христос хочет разделить с нами не только наше человечество, но и все последствия греха, тяготеющие на нас. А умереть можно, только потеряв Бога, — иначе смерти нет. Умереть можно, став в своей природе *безбожным*, в этимологическом смысле слова. И, значит, Христос умирает, разделяя наше состояние обезбоженности, нашу потерю Бога. Он соглашается на полную солидарность с нами — не

только всей Своей жизнью, но и всей Своей смертью. Он стоит перед Богом *вместе* с нами, а не только *за* нас. Он — один из нас. Он соглашается стать не только *Мужем скорбей* (Ис 53:3), но и принимает осуждение, ибо *проклят... всякий повешенный на дереве* (Втор 21:23), то есть на кресте. Он отвергнут Богом, потому что захотел быть единым с теми, кто через грех потерял Бога, и Он отвергнут людьми, потому что пожелал быть и был един с Богом — единственный совершенный Свидетель, свидетель Божий среди рода, который отвернулся от Бога и не признавал иного царя, кроме кесаря. Он умирает нашей смертью. И поэтому-то Его смерть может стать нашей жизнью. На кресте Он умерщвляет нашу смерть. Он берет на Себя тяжесть всего проклятия, всего ада человеческого, и постольку поскольку Он все разделил с нами, Он может нас исцелить; поскольку Он все победил, Он может даровать нам свободу детей Божиих. Сошествие во ад, которое мы видим на иконах Воскресения, — это реальность. Христос умирает, потеряв Бога: *Боже Мой, Боже Мой! зачем Ты Меня оставил?* (Мк 15:34) — и сходит туда, куда сходят все, кто умер от разлуки с Богом, в *шеол* — место вечного, радикального Его отсутствия. Но здесь-то просиявает слава Его Божества, потому что согласившийся на разлуку от Бога был Богом! Ад побежден, нет больше *шеола* — нет больше места, где бы не было Бога. Фраза псалма: *Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты* (Пс 138:7—8), — до прихода Христа это выражение было, вероятно, неразрешимым парадоксом, поскольку ад тем и определялся, что это — место, где Бога нет. Теперь мы знаем, что выражали эти слова: Бог сошел в самые глубины не только нашего падения, но и нашей потери Бога и нашей оставленности Богом; Христос оказался там, куда мы никогда больше не попадем, потому что ад, которого Он вкусил, больше не существует.

Но как мы соединены с Ним? В силу чего то, что относится ко Христу, относится и к нам? Эта онтологическая солидарность — следствие прямого Божественного решения в соответствии с тайной любви, милосердия, а в любви есть одновременно и радостное, и жертвенное измерение. Некоторые из нас, несомненно, уже теряли дорогого человека, кого они любили больше всех. В такие моменты мы знаем, что, пока этот человек, его боль, его мука жгут нам сердце, — мы больше не принадлежим полностью окружающему нас миру. Мы убегаем от того поверхностного смеха, который принимали ранее, мы не можем продолжать жить поверхностно, мы хотим жить глубоко, в сознании величия смерти и жизни. Да, тогда оказывается, что мы не принадлежим полностью этому миру, мы уже причастны будущему веку. Мы отчасти находимся там, где теперь человек, которого мы любим. Все, что, как мы знаем, было причиной его смерти, становится нам чуждым, и мы отворачиваемся от этого. Но, если подумать о Христе, мы знаем, что Он умер от нашего греха, и если бы мы умели любить Христа, мы стали бы чуждыми убившему Его греху. Мы действительно пустились бы в поиск высшего, стали бы странниками на том пути, на который прежде нас вступил Тот, Кого мы любим больше всего — Христос, — куда вступили все те, кто нам действительно дорог и уже ушел от нас. Вы, вероятно, помните место из «Спящего Вооза» Виктора Гюго:

Но, разлученные, мы с нею слиты все же:

Она во мне жива, а я почти мертвец⁹.

Вот куда приводит нас смерть каждого человека, который нам дорог. Мы все меньше привязаны к временному, то есть, в конечном итоге, к призрачному, и все больше должны укореняться в вечном и незыблемом. И когда имя любимого — Иисус Христос, если Он — Муж скорбей, Тот, Который нас так возлюбил, что умер за нас и захотел — Он, сама Жизнь — умереть нашей смертью, чтобы влить в нее Свою жизнь, — может быть, тогда мы начинаем понимать, хотя бы отдаленным чутьем, как святые могли забыть все, отрешиться от всего, оторваться, освободиться и жить дальше на этой земле свидетелями Вечной Жизни, уже опытно им известной, с полнотой, которая нам недоступна.

Конечно, слово «любовь» мы употребляем на тысячу ладов и большей частью неуместно. Мы произносим: «Я люблю клубнику со сливками» — так же легко, как говорим: «Я люблю тебя» — Богу или той, которую мы избрали. Однако во всех этих случаях значение слова «люблю» совершенно различно. Оставим пока клубнику со сливками, оставим и Бога: подумаем о человеческих отношениях. Как часто, когда мы говорим «Я тебя люблю», «я» — огромно, «тебя» — совсем маленькое, а в «люблю» нет ничего динамичного. Можно было бы, вопреки грамматике, сказать, что это простой союз или, вернее, крючок, который позволяет огромному «я» подцепить и держать в плену то малюсенькое «тебя», которое имеет несчастье «быть любимым». Как часто в семьях, в человеческих отношениях, в порыве честности или при вспышке досады мы бываем готовы сказать: «Люби меня поменьше! Дай мне свободу, дай мне покой, дай мне быть самим собой, я хочу дышать, я — пленник твоей любви». Начиная с этого малого, убогого уровня мы можем расти, мы можем через все углубляющиеся, утончающиеся, расцветающие отношения постепенно обнаруживать: «тебя» тоже имеет личность, у него есть лицо, взгляд, душа, чувства, в этом «ты» есть вся человеческая тайна, где обитает Бог. Тогда «я» начинает умяляться, а «ты» расти — между ними устанавливается своего рода равенство, равновесие, подлинные отношения: слово «любить» вместо того, чтобы означать простое обладание, выражает живое отношение, обмен, где и даешь, и получаешь. И если это отношение углубляется, если наш опыт любви становится тоньше и возвышеннее, тогда постепенно совершается чудо: тот, кто сначала думал только о себе самом и об обладании другим, все больше забывает о себе. Он забывает о себе до такой степени, что в конечном итоге даже не может вспомнить о своем собственном существовании, потому что существует только любимый. Это мы находим в отношении Бога к нам, Христа по отношению к нам. Христос стал рабом среди рабов, мертвецом среди мертвецов, осужденным среди осужденных, Он Себя забыл до конца, Он отдал Свою жизнь, истощил Свое величие и великолепие, лишь бы мы — мы-то! — смогли вырасти в Его меру.

Мы, при всех наших взаимоотношениях, стараемся самоутвердиться. Мы настойчиво ищем признания, хотим, чтобы наше существование было принято, хотим места под солнцем — и тем самым встречаем

⁹ «Спящий Вооз». Пер. Н. Рыковой. Гюго В. Собр. соч. в 15 т. М., 1956, т. 13, с. 319.

отвержение, потому что наш ближний тоже хочет своего места, а часто и нашего! Так что большинство отношений содержат напор, утверждение, настояние: «Я хочу, чтобы ты меня видел, я хочу, чтобы ты меня принял». В отношениях любви это требование излишне, потому что меня утверждает другой, следовательно, мне нет нужды утверждаться самому. Я существую, потому что я любим, а не потому, что требую признания. Пшеничное зерно — твердое, ограниченное, окруженное оболочкой — образец целостности, где невозможны *отношения*. Это зерно должно умереть, раствориться, чтобы стать способным на существование, которое Христос описывает в Евангелии Своим словом и Своим Образом. Утверждаемые Богом, мы можем жить. Это *отношение* — через крещение, причастие, общинную жизнь, общение святых и трагическую, мучительную солидарность грешников, сознающих себя таковыми, — и составляет наше единство, выражает нашу жизнь во Христе и позволяет нам жить в Нем. Христос, соединивший нас в Себе, призывает нас жить Его жизнью. Он предлагает нам полноту вечности, но вместе с тем, пока мы живем на земле, наша судьба может быть лишь судьбой Христа: *как Меня послал Отец, так и Я посылаю вас — как овец среди волков* (Ин 20:21; Мф 10:16). Христос уже пришел, все уже завершено, но это завершение должно проявиться через нас динамически, через борьбу, устремленность, которая перестанет лишь с пришествием Христовым. Мы тоже должны принять слово Христа, обращенное к Иоанну и Иакову, когда они просили у Него сесть по правую и левую руку от Него в Его Царствии: *Можете ли пить чашу, которую Я пью?* (Мк 10:38) — то есть готовы ли вы погрузиться в тот ужас, который отныне принадлежит Мне: Страсть, крест, смерть, сошествие во ад? Эти вопросы Он ставит всем нам: готовы ли мы отозваться? Мы не можем принять все это, если не прикоснемся хотя бы края, грани вечной жизни. Потому что погрузиться в смерть, не имея предвкушения вечной жизни, нам страшно, мы не сумели бы этого сделать...

Если мы — христиане, мы должны *опытно* знать, что жизнь победила смерть, что мы воскресли, что мы разделяем со Христом все, что Он есть, потому что Он разделил с нами все, чем являемся мы. Мы, христиане, — люди Незаходящего Дня, Восьмого Дня. Мы уже принадлежим грядущему Царству. В Литургии есть абсурдное как будто выражение, которым мы просим у Бога дать нам участвовать *сегодня* в Его *грядущем* Царстве¹⁰. Грамматически — это безумие. Но это — безумие Креста, безумие Евангелия, безумие христианского

¹⁰ Литургия Иоанна Златоуста. Евхаристический канон. Первая тайная молитва священника: «Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего: Ты бо еси Бог неизреченен, неведом, невидим, непостижим, присно Сый, такожде Сый, Ты, и едиnorodный Твой Сын, и Дух Твой Святыи: Ты от небытия в бытие нас привел еси, и отпадшия восставил еси паки, и не отступил еси вся творя, дондеже нас на небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее...» Русск. пер. О. Седаковой: «Достойно и праведно воспевать Тебя, благословлять Тебя, славить Тебя, благодарить Тебя, поклоняться Тебе на всяком месте владычества Твоего (повсюду, где Ты — владыка). Ибо Ты Бог неизреченный, непознаваемый, невидимый, непостижимый, вечно Суший, Суший в неизменности, Ты, и Сын Твой едиnorodный, и Дух Твой Святой. Ты из небытия привел нас к бытию, и отпавших нас Ты вновь возродил, и не отступился, все творя (для нас), пока не возвел нас на небо, и Царство Твое будущее даровал нам...»

опыта. Мы *знаем*, мы *уже* знаем, мы не могли бы совершать Евхаристию без этого знания, мы не могли бы благодарить Бога за всю человеческую историю перед лицом ее ужаса и трагизма. Не актом доверчивости, но в таинстве веры мы знаем, что победа *уже* одержана, что всякое страдание *уже* побеждено, что всякая смерть имеет смысл, что всякая трагедия не то что превзойдена, а включена в богочеловеческое становление, где она обретет вечный смысл. Мы уже можем сказать с мучениками, которых упоминает Апокалипсис: *Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих* (Откр 15:3). Только при этом условии мы можем во всей правде совершать Евхаристию, высший акт благодарения. Иначе — берегись! Как бы Евхаристия не стала действием, которым мы благодарим Бога за то, что сами не выстрадали того, что выстрадали другие. Как бы не оказалось, что мы в состоянии благодарить Бога за человеческую историю, лишь забыв о ней.

В Евангелии мы не раз видим, как Христос совершает чудеса в субботний день. Поступает ли Он так, чтобы вызвать соблазн, чтобы создать неприемлемую ситуацию? Или — в целях Божественного научения? Мне кажется, седьмой день — суббота является тем, что один католический богослов назвал «днем человека». В седьмой день Бог почил от всех дел Своих, но Он поручил человеку завершить Его дело творения, привести весь тварный мир к полноте Восьмого Дня, то есть грядущего Царства. И Иисус, истинный Человек, становится «Господином и субботы» и призывает нас войти в этот «день человека» людьми Восьмого Дня. Он призывает нас *знать* среди этого исторического времени, которое многим кажется полумраком, где идут ощупью, Он призывает нас *быть*, и не в прошлом, и даже не в настоящем, — а в будущем. Наше дело, дело христиан, — завершить субботу. Ради этого Сын Человеческий и становится Господином и субботы. Это наше делание, это наше призвание подразумевает ответственность на всех уровнях: свершение нашего человеческого призвания, личного и коллективного, по отношению к Богу, по отношению к миру человеческому (кажется, Ламенне сказал, что христианин — это человек, которому Бог поручил заботу о других людях), свершение его по отношению ко всему земному космосу, всему громадному творению. *Бог вручил нам Свою субботу*. В этой-то перспективе мы призваны быть живыми, воскресшими из мертвых; мертвыми мы были и отчасти такими остаемся, воскресшими мы должны быть не в том смысле, что смерть нас не коснется, а в том, что мы уже — за пределом разлуки от Бога, за пределом разделения от людей, и что мы на земле, как община любви, — эсхатологические свидетели, свидетели Царства, которое будет, которое уже есть тайна Бога, ставшего всем во всем и во всех (1 Кор 15:28).

Ответы на вопросы

Значит ли, что отсутствие Бога есть отсутствие бытия? Можно ли сказать, что одни войдут в вечное блаженство, а другие будут вечно страдать от отсутствия Бога?

На первую половину вопроса я отвечу, заменив слово «бытие» словом «жизнь»: отсутствие Бога — это отсутствие жизни. Можно существовать вещественно, физически, но быть мертвым среди мертвецов, погаснуть душой, быть в числе тех, кто никогда не ощутил биение жизни, ее творческий напор, в конечном итоге — тех, кто

никогда не заметил, что полнота жизни называется любовь и что любить — это отдать свою жизнь. Я не хотел бы возвращаться к тому, о чем уже говорил, но думаю, что важно понять: на языке Писания и в опыте Церкви любовь — не чувство, не эмоция — это степень жизни, полнота, которая способна отдаваться бесстрашно.

Что касается вечного блаженства (вопрос об этом ставят часто), то, я думаю, на него нет исчерпывающего ответа. Мы, скорее, имеем право *на все надеяться*, чем высказывать непоколебимые *убеждения* по этому поводу. Существует мнение, что все спасутся; я думаю, об этом нельзя говорить как об «уверенности веры»: можно лишь считать это «уверенностью надежды». Мы можем с надеждой ожидать всего от бесконечной и неисследимой Премудрости Божией, мы не знаем путей Божиих. Мы не знаем, как Он, взявший на Свои плечи бремя, тяготу всего мира, сумеет в конечном итоге привести нас к вечности.

Тема последнего Суда представляет определенные трудности. Часто мы воображаем его как повторение частного суда. Каждый из нас вновь предстанет перед Богом, и в напряженной, драматической ситуации будет произнесен окончательный приговор. Но обязательна ли такая картина? Нет ли коренной разницы между частным судом и Страшным судом? Не предстанут ли на последний Суд перед лицом Божиим целые страны и народы — в своей славе, но и, вероятно, несомненно, в своем позоре? С другой стороны, когда все человечество встанет перед Богом, один из нас, людей, будет Человек по имени Иисус из Назарета. Он называет Себя — Братом нашим, Он — один из нас. Если Он — наш Судья, то Он же — и наш Защитник. Его крест не есть ли, по слову одного из Отцов, «суд над судом»?

Тема Страшного суда ставит множество вопросов, углубиться в которые сейчас у нас нет возможности. Новый ад? — Что мы имеем в виду? Место мучения? Или все тот же ад разлуки от Бога, отсутствия Его познания? — Не знаю. Мне кажется, что нам следует сохранять равновесие, колеблясь между правдой («ничто нечистое, ничто недостойное Бога и человека не войдет в Царствие Божие») и надеждой, потому что зло должно быть побеждено и может быть побеждено Богом, Христом, Христом в нас, в Его единстве с верными Ему людьми. Рай не может быть водворен насильственно, ибо любовь — это свобода, и Рай — полнота любви-свободы. Премудрость Божия глубока, как и Его любовь к людям, и мы имеем право (я бы даже сказал: мы обязаны) *на все надеяться*. Перечитайте гимн любви у апостола Павла (1 Кор 13).

Бог внес жизнь в ад. Но тот, кто заслужил ад, кто уже познал ад, — как может он после телесной смерти познать Жизнь?

Мне кажется, нам следует научиться воздерживаться и не произносить суждения — ни о других, ни о самих себе. Сказав «тот, кто заслуживает ад», мы кого-то осуждаем (порой самих себя), и нам представляется, будто такое суждение благородно и справедливо: будто мы знаем достаточно, чтобы вынести такое суждение. Это не так. Мы, может быть, достаточно знаем собственное достоинство, но недостаточно знаем пути Божии, Его мудрость и Его милосердие. «Я заслуживаю ад» — фраза, которую я считаю богословски ложной: она предполагает право судить — право, принадлежащее Одному Богу. Что касается знания ада — нам известно, что некоторые святые пережили этот опыт,

но кто из нас посмел бы сказать подобное о себе? Когда мы говорим об «аде» человеческой жизни, об «аде» в обществе, о «кругах ада» на земле — мы говорим все-таки не об аде. Ад (даже оставляя в стороне образ полного, радикального отсутствия Бога) — момент, за которым *нет ничего*, это предел пути, который можно бы обозначить словом Достоевского: «Слишком поздно! Теперь я все понял, я прозрел, я бы сделал все, что надо, — и я обнаруживаю, что слишком поздно: поздно любить, поздно понимать, поздно действовать»¹¹. В этом и будет трагедия ада, но этого мы не знаем в жизни, в жизни не бывает «слишком поздно». Пока мы живы телом, пока есть дыхание жизни в нас, пока смерть не пожала нас — есть и будущее: один жест, одна мысль могут изменить и преобразить жизнь. Мне вспоминается случай из жизни *Curé d'Ars*¹²: к нему однажды пришла женщина в отчаянии, так как ее муж покончил с собой, бросившись в реку. Он попросил подождать, пока он помолится, затем подозвал ее и сказал: «Утешься, между мостом и водой он пожалел о своем поступке». Порой достаточно «мгновения ока»: один вздох может все изменить.

Если смерть — единственная подлинная мера жизни, то есть нечто благое для человека, почему Библия говорит, что она — проклятие, следствие греха? Разве Адам и Ева не изначально должны были умереть?

Я не сказал так прямо, что смерть — единственная и подлинная мера жизни, так же как не утверждал, что она — благо для человека. Я попытался сказать — но, может быть, не сумел сделать это ясно, — что вырасти в полную меру жизни можно, только если мы готовы встретить смерть, свободно посмотреть ей в лицо, противостоять ей со всем мужеством, всей верой, всей надеждой. «Благо» — не в смертности, не в самой смерти, когда она настигает нас; положительный момент, как уже было сказано, — в том, что единственная возможность вырасти в меру жизни — это неколебимо стать перед лицом смерти, быть готовым к ней — без страха и без самоутверждения. «Быть готовым» не означает какое-то особенное состояние; это означает, что все в жизни — каждое слово, каждое движение, все самое малое — должно быть так совершенно, что, если смерть застанет в этот миг, можно было бы сказать: это последнее действие было самым прекрасным, что сумел сделать этот человек... Только зная, что смерть может нас остановить, может оборвать жизнь, мы можем постараться сделать из ничтожного поступка, из слова, как будто совсем мелкого, нечто прекрасное, совершенное. Если бы мы жили все время, стараясь, чтобы каждый миг был прекрасен и полон, вся наша жизнь в целом была бы прекрасна и полна. В этом смысле смерть — благо, смерть напоминала бы нам, что надо жить со всем напором, надо спешить жить. Нам некогда писать черновик жизни: времени хватит лишь на то, чтобы жить с полнотой, напряженно, жить всем своим существом, творя и создавая совершенство, красоту. Смерть — да, следствие греха, следствие падения, следствие нашей потери Бога, она знак и печать катастрофы, признак нашей отделенности от Бога.

¹¹ Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы». Полн. собр. соч. в 30 т. Л.: Наука, 1970—1990, т. 14, с. 292.

¹² Арский пастырь — Жан-Мари Вианне.

Что в таком случае изменила смерть Христа?

Да, мы все умираем, но отныне смерть для христианина означает *успение*, означает — упокоиться в Боге, родиться в вечность. Это не гибель, не конец пути, после которого «ничего нет» — только тление тела, распад всего нашего существа. «Умереть» означает войти в вечную жизнь, где лицом к лицу живой душой мы встанем перед лицом Живого Бога. Больше того: этот переход в вечность, предстояние лицом к лицу, даже оно — только ожидание, с надеждой, в уверенности веры, Воскресения. В Символе веры мы провозглашаем свою веру не в бессмертие души, а в воскресение мертвых. Мы несомненно верим в это воскресение, мы *чаем* его. Можно бы сказать, что мы — единственные на свете материалисты, потому что мы верим в материю, в ее способность возродиться к вечной жизни в Боге.

Как знать, что надо совершить, как знать, что мы это совершили и теперь можем умереть?

Ваше «можем умереть» дает мне лазейку, иначе у меня не было бы ответа на этот вопрос. Чтобы умереть, вовсе не нужно знать, что надо совершить или что уже совершено. Мы не *выбираем* смерть — она приходит к нам, *дается*, мы не выбираем ни сроки, ни то, как именно мы вступим в ее тайну. Можно сказать, что наш путь никогда не бывает завершен. Завершение означало бы, что мы достигли такой совершенной, всецелой любви, что она охватывает всех, что нет ни одного человека, кого мы не полюбили полностью, до предела, что во всех случаях наша любовь достигла своей полноты. Так вот, можно заранее сказать (об этом пишет и святой Иоанн Златоуст), что мы всегда должники в любви, в милосердии. Так что нечего задаваться вопросом: совершил ли я? Мы можем заранее ответить: *нет!* Или вопросом: что мне остается совершить? Можно сразу ответить: *все!* Тем не менее приходит момент, когда Бог в Своей премудрости, по Своей воле, вступает и пожинает нас. Достаточно знать, что наше дело — постоянно возрастать к полноте любви, учиться любить всем умом, всей чуткостью — творчески, как только мы способны, — любить деятельно, любить не только тех, к кому наше сердце обращено естественно, но и других, любить не «вообще» людей, а каждого лично, потому что каждый — единствен и заслуживает, чтобы его любили *лично*. Это мы можем помнить, вот — наша роль, наше призвание. А Бог заберет нас, когда Сам определит.

Вы говорите, что Христос Сам пожелал умереть нашей смертью. Если так, откуда Его молитва: «Мимонеси эту чашу»?

Христос — совершенный человек и совершенный Бог. Его воля находится в гармонии, в единстве с волей Отца, но тем не менее в Своем человечестве Он ощущает мучительную тоску и ужас смерти, как любой из нас. Я бы сказал больше: Христос, бессмертный и в Своем человечестве, — единственный, Кто мог ощутить всю чудовищность, ужас, невозможность смерти. Христос, бессмертный в Своем единстве с Отцом, соглашается стать смертным и предает Себя смерти по солидарности с нами. Он, измерив до глубин ужас смерти, как человек, в Своем подлинном совершенном человечестве обращается к Отцу и умоляет: *Мимонеси от Мене чашу*, затем добавляет: *Да будет воля Твоя* (Мф 26:39—44). В этом принятии Божественной воли человечество

Христа проявляет свое совершенство, свою совершенную гармонию с Живым Богом.

Не можете ли сказать несколько слов о самоубийстве? Как можно переносить, вернее, любить жизнь? Разве смерть — не самое желанное, что может произойти?

Христианское отношение к самоубийству, радикальное отвержение самоубийства как попытки вырваться из жизни, которую мы находим невыносимо тяжелой, основывается, думаю, на чувстве, что покончить с собой означает отрицать возможность иного будущего, отвергать надежду. И я не говорю о какой-то далекой надежде, а о конкретной надежде в настоящем. Самоубийство означает также отвержение глубокой веры, то есть полного доверия к Богу. С одной стороны, мы проявляем недоверие к Богу, мы бросаем Ему в лицо, что наши страдания, обстоятельства нашей жизни, толкающие нас на самоубийство, — акт безумия с Его стороны и что это безумие мы беремся исправить собственными силами. С другой стороны, мы утверждаем, что нет надежды, нет будущего, что от Бога ждать нечего. Мне кажется, духовная проблема самоубийства в этом. Конечно, в ситуации отчаяния, толкающей нас покончить с собой, смерть представляется нам самым желанным и простым решением.

Но это близорукость. Разумеется, если вечной жизни не существует, смерть может показаться самым простым и самым быстрым решением, хотя самоубийца редко думает о тех, кого покидает и кому придется столкнуться с ужасом этой насильственной, вольно избранной смерти, которая осуждает *их*. Я видел сколько-то самоубийств: всякий раз целый круг людей рассматривает это самоубийство как свое осуждение: они проглядели трагедию, не сумели с ней справиться.

Как переносить жизнь? Думаю, когда у нас нет жизненного порыва, когда под внешним давлением или от охватившей нас внутренней тоски мы не в состоянии любить жизнь, — единственное, что можно сделать, это жить из послушания. «Послушание» не означает положение раба, который покоряется, послушание — отношение того, кто признает Божественную премудрость и соглашается действовать и поступать не понимая, жить, принимая за критерий жизни, деятельности, бытия, волю иную, нежели собственную: волю Божию. «Слушаться» в первую очередь означает «слушать», *прислушиваться*: начинается это с признания, что пути Божии — не наши пути, и Его мысли — не наши мысли. Если бы послушание было только «рабством», оно лишь усугубило бы наше отчаяние: мы все больше ощущали бы себя пленниками, погрузились бы в безнадежность. Но если мы осознаем, что Тот, к Кому мы *прислушиваемся*, — Живой Бог, что мы принуждаем себя исполнять непонятную нам волю Бога Живого, то постепенно через это *послушание* мы начинаем прозревать *замысел* Божий, Его мудрость, Его пути и тогда-то примем их уже менее тяжелым сердцем, затем даже с возрастающей радостью — и, наконец, войдем в полноту жизни.

В период, когда послушание выполняется без всякого воодушевления, я думаю, можно жить так, как это излагает Диккенс. В начале приключений мистера Пиквика он описывает, как его герой нанимает фиакр, и так как этот человек полон интереса ко всему, что никакого

интереса не представляет, он задает своему вознице бесконечные вопросы и, между прочим, спрашивает: каким образом такая худая, жалкая лошаденка может везти такой тяжелый фиакр? И кучер отвечает: «Ах, сударь, дело не в лошади, а в колесах! Видите ли, колеса-то огромные, хорошо смазанные. Стоит лошади тронуться, как колеса начинают вращаться, что же остается лошади? Ей приходится бежать, спасая свою жизнь». Так вот, в моменты отчаяния, когда не хочется тянуть свою ношу, можно жить по этому образу: надо отдавать себе отчет, что повозка все равно висит на нас и что необходимо бежать, устремляться вперед, чтобы повозка, которую мы тянем, нас не раздавила. И вдруг в какой-то момент мы замечаем, что повозка не только заставила нас бежать, но что мы бежим легко, сами по себе, что мы научились динамике жизни.

В проблеме самоубийства есть личная ответственность, но, с другой стороны, как я уже сказал, есть ответственность, так сказать, коллективная. В моем докладе было замечание о том, что можно умереть прежде времени, чувствуя, зная, что ты отброшен, лишний, ненужный, ты отвержен. Так вот, многие самоубийства происходят оттого, что рядом с человеком не оказалось никого, кто бы его утвердил. Никто не сказал: «Твое существование *важно* для меня, твое существование имеет ценность, потому что без тебя будет пустота, которой не заполнить ничем». Мне кажется, тут есть наша ответственность, в первую очередь как христиан, потому что у нас есть видение вещей, которое нам дает Бог в Своем Слове, в Своем Откровении, в жизни Церкви, потому что Дух Святой говорит в наших глубинах; и есть ответственность общественная, в самом широком смысле слова.

Церковь отказывается отпевать самоубийц. Ведь чин отпевания предполагает целый ряд вещей. Невозможно просто сказать: «Господи, этот человек согрешил, но он до конца на Тебя уповал и надеялся», когда он не уповал и не надеялся. Нельзя сказать: «Человек этот согрешил, но вера его никогда не поколебалась». Ведь нельзя надсмеваться ни над Богом, ни над усопшим. Значит, есть категория людей, которые в такой чин просто не входят. Но Церковь издавна говорила, что если человек совершает самоубийство в состоянии помешательства, «аффекта», то это надо — или можно — принять в учет. И я думаю, что приходится принимать это в учет почти всегда: я видел только одного человека, который совершил самоубийство хладнокровно (и то трудно сказать: хладнокровно ли. Ну, человек денежно обанкротился и просто испугался ответственности). Но есть и какая-то мера страха и ужаса, которую нельзя считать хладнокровием, в худшем случае в связи с этим может встать ряд вопросов. Не следовало ли бы нам иметь какие-нибудь богослужебные чины для до сих пор не предусмотренных случаев?

И, наконец, есть вопрос личный. Каждое отдельное лицо в Церкви имеет право личного милосердия. Где-то в православном сознании есть: то, чего не делает Церковь как таковая, через большую «Ц», член Церкви может делать. Я, конечно, не говорю о том, чтобы нарушать что-то, что лежит в существе Церкви. Но в житиях святых есть рассказ о том, как один священник молился о самоубийцах и его епископ запретил ему. И было ночное видение тому епископу: толпы людей

кричали ему, что он их мучитель. И когда он их спросил: «Но что я вам сделал?» — они ответили: «Один человек за нас молился, и каждый раз, когда он молился и совершал литургию за нас, нам было облегчение, а теперь ты нас этого лишил». Всецерковно это ничего не меняет, а в порядке какой-то личной чуткости, личного чувства вещей — меняет. Я много лет был в приходе священника, который, с благословения нашего епископа, на литургии вставлял несколько прошений и, между прочим, молился о тех, которые «в безумии сердца и помрачении ума руки на себя наложили». И мы десятилетиями молились в такой форме. Такая формулировка в его устах была не лукавая, совершенно прямая, и, конечно, это покрывает огромное поле, потому что *о ком* можно сказать, что он не был помрачен умом или безумен сердцем? Я с ним тогда говорил об этом, потому что очень этому сочувствовал, и мы оба радовались, что эти слова нам дают право молиться о всех, а вместе с тем не говорят ничего больше, чем можно сказать.

Что вы думаете о мнении, будто страх смерти порожден психологией человека, обусловленного обществом и религией? Животные не боятся смерти...

У меня впечатление, что такое мнение отражает оптимизм, которого нет у животных. Когда животные чувствуют, что их ведут на бойню, несут утопить или как-то уничтожить, они испытывают глубокий ужас. Сходите проверить на бойню, понаблюдайте кошку, у которой отняли котят, чтобы утопить их: вы не будете так уверены, что животные (которые не обусловлены обществом и религией) не боятся смерти. Смерть — реальность *настолько* противоестественная, что все в мире, любая тварь, трепещет перед ней.

Что касается обусловленности, я думаю, смерть нам предстает по-разному, в зависимости от возраста и положения. Мне кажется, что обычно мы начинаем задумываться о смерти несколько запоздало. Мы думаем о ней, когда она начинает разрушать наше тело, когда нас настигают старость или болезнь, когда мы начинаем рассыпаться, когда угасает в нас жизненная сила. Тогда мы задумываемся о смерти — и думаем о ней ложно. Чувствуя в себе силы распада, мы думаем, будто смерть — не что иное, как последний этап этого распада, ничего больше. Разумеется, наше тело будет разлагаться и обратится в прах. Но смерть несет не только распад. Часто можно видеть, что по мере того, как слабеет тело, внутренняя *жизнь*, настоящая жизнь нарастает до такой степени, какой человек не знал раньше.

Когда мы молоды, мы не думаем о смерти, потому что она нам чужда, — разве что она отняла у нас близких, родителей. Но в других отношениях она нам не чужда, и вот тогда-то и нужно думать о смерти, потому что тогда мы можем рассматривать ее самые различные аспекты. Я уже много распространялся на эту тему, но сказал гораздо меньше, чем надо бы. Страх смерти охватывает нас в первую очередь изнутри. Страх поддерживается обществом — не потому, что оно *хочет*, чтобы мы боялись смерти, а именно из-за нашего нелепого к ней подхода. Долгое время смерть окружали всякой жутью. Не знаю, существует ли это еще, но вспомните «похороны по первому разряду» — черные драпировки и тому подобное, и все это здесь, во Франции. Смерть окружали мрачной атрибутикой — и не только общество в целом, но и Церковь. В этом смысле ответственность лежит

и на религии. Смерти надо вернуть ее значение рождения в вечную жизнь. В Православной Церкви похороны совершаются не в черных, а в цветных облачениях, потому что в действительности тут — радость. Мы стоим на отпевании с возжженными свечами, служба подобна воскресной утрени. Нам следует вернуться к такому отношению. Разумеется, в измельчавшем обществе, где окружающие гроб видят в нем только разрушение, это невозможно. Мне кажется, однако, что обусловленность лишь развивается на основе уже наличествующего страха. Мне некогда распространяться о подоплеке этого страха, но она совершенно основоположна: смерти не должно быть, и все живое реагирует на смерть одним: «Нет!»

Почему у Серафима Саровского в келье был гроб? Откуда такая как будто нездоровая черта у человека, который так сиял светом? Как смерть может стать другом, сестрой, почему она должна стать близкой?

Я не думаю, что здесь — «нездоровое отношение». Святой Серафим Саровский смотрел в лицо смерти в *надежде воскресения*. Это — напоминание, что, засыпая, мы вступаем в опыт смерти. По сути, у нас огромный опыт смерти. Ведь подумайте: мы засыпаем каждый вечер и погружаемся в полную бессознательность, из которой воскресаем утром. Это нас не пугает. То же самое с верующим, который усыпает в вечность. Есть молитва в этом направлении в англиканском молитвослове и в наших вечерних молитвах: *Неужели мне одр сей гроб будет?* — молитва Иоанна Дамаскина. И не сна следует страшиться, потому что он похож на смерть, — а смерть должна для нас стать родной и привычной, как сон, потому что мы так хорошо ее знаем через наш опыт засыпания, ухода как бы в небытие сна. Так что Серафим Саровский — пример того, кто каждый вечер погружается в сон, от которого, может быть, восстанет пред лице Божие, а может, вернется к земной обыденности. Это — не нездорово, не мрачно, это — просто, радостно, привычно; конечно, это напоминание — но с надеждой на вечную жизнь.

Да, подвижник призван постоянно смотреть в лицо смерти, и причины этому я уже изложил и возвращаться к ним не буду: смерть — дверь, открывающаяся в вечность, смерть — высвобождение из порочного круга жизни в падшем мире, откуда нет пути к Богу; смерть позволяет вырасти в полную меру человека, то есть в меру Бога.

Смерть — подруга, сестра? Это — поэтические выражения, а я не поэт. Франциск Ассизский называл смерть сестрой¹³. Быть может, позволительно сказать (но боюсь, это неудачная шутка), что, поскольку мы полны жизни, постольку и смерть становится близкой, дружеской, становится не врагом, а именно как вторая сестра, в свое время возьмет нас нежно в свои руки и унесет в Царство Божие.

Как стать живым, «ожить из мертвых», когда нет хороших корней, когда знаешь только человеческую злобу? Как найти любовь Божию, когда не знал материнской любви и место матери занимала личность скорее отрицательная?

¹³ «Гимн брата Солнца». Пер. О. Седаковой. «Истоки францисканства». Assisi: Movimento Francescano, 1996, с. 139—140.

Я хотел бы сказать две вещи. Первая (повторюсь): подобная ситуация — как раз предмет коллективной ответственности. Да, возможно, отца, матери не доставало, и те, кто был призван их заменить лаской и любовью, возможно, были жестоки и не способны *давать*. Но куда смотрели окружающие? Что делали соседи, друзья, школа, приход, что делала Церковь? Вот где наша коллективная ответственность. И эту ответственность *можно* пронести: есть множество случаев, когда оставленные близкими люди находили любящее сердце, которое открыло им, что можно встретить любовь и, значит, можно жить.

Но есть и личная сторона — и тут, думаю, я обращаюсь к человеку с призывом вырасти в героическую меру. Принять свое прошлое, принять бросивших нас родителей и тех, кто их недостойно заменил, не сумев полюбить нас, можно через прощение. Но прощение надо понимать несколько иначе, чем это делается обычно. Слишком часто мы считаем, что *простить* означает «забыть», «зачеркнуть», «навсегда изгладить» какое-то событие. Мне думается, это не так. Прощение начинается гораздо раньше, оно не устояло бы, если бы речь шла просто о том, чтобы «зачеркнуть» нечто. Прощение начинается в момент, когда человеку, который всей своей тяготой, своей жестокостью, своей безответственностью раздавил нас, мы говорим: «*Я тебя принимаю*. Я тебя принимаю, я тебя беру на свои плечи, как Христос взял крест. Я тебя принимаю, *каков ты есть*, как крест, на котором я, быть может, умру, но тогда получу право сказать: Отче, прости ему, он не знает, что делает». Прощение начинается в момент, когда я принимаю виновного, ничего не требуя, не говоря ему: я тебя отброшу, если ты не переменишься, не спрашивая его: переменился ли ты достаточно, чтобы заслужить мое прощение? Мы можем взять на себя — словно крест, который нес Христос, — тяготу тех, кто раздавил нас, и на этом пути к Голгофе, через наше соучастие в Страстях Христовых, через наше собственное крестоношение, наше прощение получает преображающую силу. Жан Даниелу как-то сказал, что страдание — единственная точка соприкосновения между злом и его невинной жертвой. Когда зло, словно нож, врезается в душу или тело человека, жертва, страдая, приобретает подлинную божественную власть *простить*, сказав Богу: «Господи, по Твоему примеру, по Твоему учению я простил. Тебе нечего взыскать с него». В этом — сила прощения, которое принадлежит нам, когда мы являемся жертвой, и сила возрождения для тех, кто виновен перед нами. Если они живы, их может коснуться благодать, если они умерли, их может покрыть прощение от Бога. Примирение — дело божественное, но и нам оно доступно. Я знаю, мои слова звучат призывом к подвигу. Но христианская жизнь, христианское обновление, воскресение, восстанавливающее нас к жизни от смерти, — не просто дар от Бога: оно требует от нас предельного усилия, вседушной, *всецелой* отдачи себя, стремления стать во Христе искупительной жертвой, если придется — стать, по Его образу, *Мужем скорбей* (Ис 53:3).